Начальник 3

Или как наш завод перерос забор



Monsieur Ilya

18+

18+

Monsieur Ilya

Начальник 3. Или как наш завод перерос забор

«Автор»
2026

Ilya M.

Начальник 3. Или как наш завод перерос забор / M. Ilya — «Автор», 2026

Утро после свадьбы начальник встречает на драконьем насесте, на двадцати двух метрах, в одном ботинке. На левой руке у него строчка эльфийских букв, которую колол кто-то трезвый, и кривой дракон, которого колол кто-то пьяный. Что там написано, ему не говорят. Где он был, не помнит никто.А в конторке, на листе жести, лежит карта, которую никто не рисовал. Отметка на ней одна.Дома тем временем дел невпроворот. У ворот каждое утро очередь из бород, в бытовке спят вповалку, молодожёнам жить негде, Копань хочет волоки дюжинами, а королева всё ещё ждёт, когда начальник сам скажет, что приедет. Расходники больше не кончаются. Теперь кончается место.Попаданцы, производство, дворфы, эльфы и пиво. Магия через станок, а теперь и через руки.

© Ilya M., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 11
Г 17
Конец ознакомительного фрагмента. 18

Monsieur Ilya
Начальник 3. Или как наш завод перерос забор

Глава 1

Гудело всё сразу, и я долго не мог понять, что именно гудит.

Гудело в голове, где-то за глазами, тупо и с оттяжкой. Гудело под щекой, мелко, железом, и от этого второго гула зубы у меня отзывались сами, хотя челюсть я не разжимал. Я лежал и слушал, и до меня медленно доходило, что гудит не во мне. Подо мной гудела опора. Ветер шёл по ней сверху вниз, по всем двадцати двум метрам уголка, и уголок пел.

Пить хотелось так, что ни о чём другом я думать не мог. Язык лежал во рту сухой, тяжёлый, чужой, и нёбо к нему прилипло. Я сглотнул, и глотать было нечем.

Глаза я открыл не сразу. Сначала один, на щёлку. Свет ударил белым и острым, утренним, и я закрыл обратно и полежал ещё, считая вдохи, пока за веками не перестало плыть. Под щекой было гладкое и холодное. Лист. Нержавейка, миллиметр, лист, который мы с Рустамом приварили к раме в первую осень сплошным швом, чтобы Гоше было где сидеть.

Выходило, что лежу я на насесте.

Рядом, справа, было тепло. Тепло шло волной и пахло дымом, сырым камнем и прелой травой. Я повернул голову, медленно, потому что быстро она не поворачивалась, и открыл глаза уже оба. В двух ладонях от моего лица лежал Гоша. Спал на боку, свернувшись, хвост свесил с рамы, морду положил на передние лапы, а между лапами у него лежал камень и светил белым, без мигания, даже теперь, при солнце.

Гоша дышал. На каждый выдох с него на меня шло тепло, и я, кажется, всю ночь так и грелся, потому что половина меня, которая была к нему, была тёплая, а вторая окоченела.

Я лёг на спину и стал смотреть в небо, пока оно не перестало качаться.

Находилось всё по одному, и каждое находилось через тело.

Правую ногу я не чувствовал. Подтянул колено, посмотрел. Нога была босая, синяя от холода, с чёрной подошвой, и пальцы на ней шевелились, когда я им велел, но с задержкой. Левая была в ботинке. Рабочем, земном, со шнурками, и шнурки болтались развязанные.

Штаны держались кое-как. Я провёл рукой по поясу и пояса не нашёл: петли пустые, все пять, и пряжки нет.

Потом заныла левая рука, и заныла так, что я сел.

Предплечье с внутренней стороны, от запястья почти до локтя, горело. Рукав рубахи был закатан, как я всегда закатываю, по локоть, и на коже под ним лежала корка, тёмная, с сукровицей по краю. Кожа вокруг вспухла и блестела. Я поднёс руку к лицу. Под коркой, сквозь неё, шли буквы. Строчка, через всё предплечье, тонкая и аккуратная, буква к букве, ни одна не завалена. Буквы были чужие. Ни людские, которые нам показывал Ларни, ни Стасовы дворфьи закорючки. Острые, с длинными хвостами вверх.

Под строчкой, ближе к локтю, сидел Гоша. Нарисованный. Кривой, с одним крылом больше другого, с хвостом, который заворачивался не в ту сторону, и с мордой, на которой кто-то от души поставил два глаза разного размера. Делал его явно другой человек, и этот другой был пьян.

Настоящий Гоша спал.

Внизу лежал двор, и сверху я видел его целиком, как на плане у Славика. Кострище у ворот, чёрное, большое, на срезе, где кончается асфальт и начинается трава. Вокруг кострища

по кругу шесты, двадцать, и на каждом светильник, и светильники ещё горели, белые и бледные против утра. Тургов стол меры стоял на козлах, на нём кружки. Лавки на боку. У моста, на той стороне, дымили костры Хорновых. Возле бытовки на телеге Торке кто-то спал, свесив ноги.

От всего этого до меня было двадцать с чем-то метров вниз, и между мной и асфальтом стояла только решётка опоры.

Пить хотелось всё равно больше, чем бояться.

Я подполз к краю рамы. Полосы нержавейки, которые мы навесили тогда по краям на цепочках, чтобы звенели, висели не все: Гоша за год оторвал больше половины, и те, что остались, тренькали на ветру, тонко и вразнобой. Под рамой шли четыре укосины в траверсу, и с траверсы вниз начиналась решётка, уголок, косынки, болты в рыжих потёках.

Как я сюда попал, я не помнил. Ни одной картинки. Последнее, что держалось в голове, был Гроар и его дед, и гребень под ладонями. Дальше был ветер. Дальше не было ничего.

Я перекинул ноги через укосину.

Первый метр я прошёл хорошо, а на втором соскользнула босая нога.

Уголок был мокрый от росы. Босая подошва по нему поехала, ботинок на другой ноге стоял на косынке и держал, а потом и ботинок поехал, потому что я дёрнулся, и я повис на руках. Левую от рывка прошило до плеча, корка на предплечье лопнула, и по запястью потекло тёплое.

– Стой!

Голос был снизу, громкий, на весь двор.

Я посмотрел вниз, хотя смотреть вниз было не надо. У подножия опоры стоял Гера. Борода рыжеватая, короткая, недельная, рубаха та же, в которой женился, валенки чёрные. В руке у него был мой ботинок.

– Стой, говорю! Не дёргайся! Там косынка под левой! Нащупай!

Я нащупал. Встал на косынку ботинком, босую ногу поставил на уголок плашмя, и повис уже на всём сразу, а руки только держали.

– Стою.

– Стоишь. – Гера сунул ботинок за пазуху, под рубаху, и полез.

Полз он быстро, хотя валенки на мокром железе держали хуже ботинок, и пыхтел, и через каждые три перекладины ругался. Я висел и слушал, как он приближается, и хотел пить.

Внизу уже собирались. Вышел из бытовки Рустам, без рубахи, с мокрым лицом, посмотрел вверх, ушёл обратно и вернулся с бухтой верёвки. Гера спустился к нему на два пролёта, взял конец, сунул под ремень и полез снова. За Рустамом вышел Стас, босиком, щурясь, с телефоном в руке. Саныч у бытовки не двигался.

Гера дошёл до меня, встал рядом, на соседний уголок, и обнял опору одной рукой, а другой взял меня за ремень, которого не было, промахнулся и взял за штаны.

– Тём. Ну ты.

– Пить хочу.

– Внизу попьёшь. Рустам! Держишь?

– Держу.

Верёвку Гера завёл на блок. Монтажный блок висел на верхней траверсе с первой осени, с того дня, когда мы тянули Гоше раму, и висел там с тех пор, никому не нужный. Гера перекинул конец, Рустам потянул снизу, и верёвка не пошла. Блок заржавел. Ролик в нём стоял намертво, и верёвка терлась о щёку блока, и только.

– Не идёт, – крикнул Рустам.

– Вижу, что не идёт! – Гера дёрнул. Блок качнулся и скрипнул. – Стас! Масло тащи!

– Пока он маслом, я упаду.

Гера сплюнул вниз и потрогал траверсу у нас над головой. Траверса была из двух уголков, сваренных полками, и край у неё был тупой, скруглённый ржавчиной за год.

– Через железо пущу. – Он стянул с шеи тряпку, которой утирался на свадьбе, и положил её на траверсу. – Рустам! Через траверсу пускаю! Тормозишь сам! Стас, к нему, вдвоём!

Конец он сдёрнул с блока, перекинул через траверсу поверх тряпки и обвязал меня под мышками, двумя оборотами, и затянул узел, какой вяжут на стройке, когда подают наверх ведро. Узел я узнал. Мой дед им вязал козу.

– Отпускайся.

– Гер.

– Отпускайся, говорю. Держу. Отвечаю.

Я отпустился. Верёвка дёрнулась, натянулась, впилась под мышки, и я пошёл вниз, медленно, рывками, по полметра, а на траверсе надо мной верёвка шипела о тряпку и о железо. Внизу двое стояли, упёршись пятками в асфальт, и травили по руке. Рустам впереди, Стас за ним. Стас что-то говорил, быстро. Рустам молчал.

Чуть выше метра над землёй верёвка кончилась, и Рустам велел прыгать, и я прыгнул на обутую ногу и всё равно сел.

Асфальт был холодный и мокрый от росы.

Саныч дал мне кружку молча.

Вода была из его чайника, вчерашняя, холодная, и я выпил её одним разом, и половина ушла мимо рта на рубаху. Саныч взял кружку, сходил к бытовке и принёс вторую. Вторую я пил медленнее, а он ждал рядом, пока допью, и не уходил, и я пил и чувствовал, что он тут.

После второй кружки голова встала на место. Отпустило за глазами. Опора перестала гудеть, а может, я просто перестал её слышать.

Только тогда я спросил.

– Где я был?

Никто не ответил. Гера спускался по опоре медленно, а последний метр спрыгнул. Подошёл, вынул из-за пазухи мой ботинок и протянул. Я взял. Ботинок был тёплый от Геры.

– Он у меня всю ночь, – сказал Гера. – Я тут сидел. Думал, вернёшься, а ты без ботинка.

Он сел рядом на асфальт и разглядывал меня. Потом взгляд у него сполз с моего лица ниже, на шею, и там остановился. Гера моргнул. Наклонился поближе.

И заржал.

Ржал он громко, запрокинув голову, с бородой вверх, и показывал на меня пальцем, и ничего не мог сказать. Стас подошёл глянуть, куда он показывает, и отвернулся, кашляя в кулак. Рустам глянул и ушёл сматывать верёвку.

Я потрогал шею. Слева, под ухом, кожа ныла по-другому, не как рука. Тупо.

– Тём. – Гера отдышался. – Тём, у тебя там. Тём.

– Что там?

– Засос, – сказал Стас, не оборачиваясь. – Конкретный.

Саныч держал пустую кружку и глядел на тракт.

Я поднял воротник рубахи. Воротник у этой рубашки был мягкий, стираный-перестираный, и стоять не хотел, падал обратно. Я поднял его второй раз и придержал рукой.

Кто, никто не сказал. Гера начал было, глянул на Саныча и замолчал.

Я сидел на асфальте с ботинком в руке и шнуровал его на босую ногу, долго, потому что пальцы не слушались, и думал о том, что мне хочется отлить больше, чем жить, и что встать пока не получится.

Через час во дворе было людно, и все вокруг меня что-то видели.

Видели, как выяснилось, все, а запомнил каждый своё.

Первыми подошли Хорновы. Гроар, князь Хорна и отец Ильды, со вчерашнего дня Герин тесть, шёл через двор от моста, держа голову правым боком, как держит всегда, потому что левого уха у него нет. С ним шёл десяток его бородачей, вчерашняя охрана, и самый молодой

из них, тот, что вчера весь вечер не дышал на Гошу, подошёл ко мне и протянул мне мой пояс, свёрнутый кольцом, с пряжкой сверху, и ничего не сказал.

– Спасибо.

Он кивнул и вернулся к своим.

Гроар остановился надо мной и засмеялся. Смеялся он по-своему, на весь двор, и у бытовки звякнули кружки на гвозде. Потом сказал что-то длинное. Ильда, которая подошла за ним, в зелёном свадебном платье, с одной косой через плечо, медными кольцами в косе, перевела, не глядя на меня.

– Отец говорит: дед сидел. Говорил, никто не верил. Теперь отец верит.

– Ильда.

– Я говорила, нельзя. – Ильда посмотрела на меня сверху вниз, хотя ростом была мне до груди и я сидел. – Вчера говорила. Даже ребёнок знает.

Пришёл Хёгни, рядчик, с ломом за поясом. Пришёл со стороны моста, где ночевала его артель, сел на корточки, посмотрел на меня, на мою ногу, на ботинок, на опору, и вздохнул.

– Летал. – Он не спрашивал.

– Видимо.

– Куда?

– Не помню.

Хёгни поскрёб бороду, и больше вопросов у него не было.

Гриша, наш гоблин из Бочек, провожатый, который на свадьбу приехал с Тургом и по случаю свадьбы ночевал у нас под телегой, рассказывал уже всем, что видел. По Грише выходило, что дракон сделал над двором три круга, на третьем поднялся выше опоры, а дальше ушёл на юг, прямо, быстро, и что я при этом пел, а песню Гриша запомнил и может спеть. Петь его никто не просил.

Тург Головня, с железного ряда в Бочках, тот, что подарил нам на свадьбу свой стол меры, сказал через Гришу, что ушли на север. Он стоял под Гошей на втором заходе, поднимал скобу, хотел меня мерить, а потом дракон пошёл вверх, и шёл он к горам. Это Тург видел точно. Скоба у него до сих пор была в руке, он с ней, кажется, так и проспал.

Торке, наш сосед с хутора за холмами, который водит Гоше овцу по марке в неделю, показал рукой вверх. Прямо вверх. Жена его, маленькая, рыжая, кивала.

Тамми принёс доску.

Тамми, молодой из Хёгниной артели, наш толмач с весны, держит доску с углём и пишет на ней всё, чего не может сказать по-нашему. Доску он протянул мне, не говоря ни слова. На ней углём было нарисовано: опора, дракон, человечек на драконе, человечек с открытым ртом, и от дракона стрела. Стрела шла по диагонали через всю доску и упиралась в край.

– Куда? – спросил я его.

Тамми повернул доску к себе и сверился с ней сам. Потом показал пальцем за край доски, туда, где стрела кончалась. За край.

– Туда. – Тамми опустил доску.

Славик, наш счетовод, всю ночь просидевший над тетрадью, сказал, что считал Гоше чешую на хвосте, сбился на двести сорок первой и начал заново, а когда начал заново, хвоста уже не было. Куда делся хвост, Славик не видел.

– Я считал. – Славик развёл руками. – А он улетел.

Когда Гоша вернулся на опору, не видел никто. Ни Гера, который сидел под ней с ботинком, ни дозорные Хорновы, ни Хёгни. Гера сказал, что глаза не закрывал. Потом подумал и сказал, что, может, разок закрыл.

Я сидел, слушал, и мне казалось, что все они говорят о ком-то другом.

– Полез я сам, – сказал я, когда все замолчали. – Никто не тянул. Это моё.

Ильда перевела. Гроар опять засмеялся.

Умывальня у нас стоит за бытовкой, из горбыля, с щелью под крышей, и вода в неё идёт горячая по трубе от котла.

Рубаху я снял там и повесил на крюк, и пока снимал, рука сама по привычке нашла нагрудный карман. Карман был пустой.

Я постоял с рубахой в руке. Три пуговицы из развалин, с мелкими буквами по краю, которые Ларни прочёл в конторке, лежали там с тех пор, как я их подобрал. Я их трогал иногда, через ткань, по утрам. Карман был застёгнут. Пуговиц в нём не было.

Я вывернул его наизнанку. Нашёл крошку от хлеба и нитку.

Вода из трубы шла горячая, и я сунул под неё сначала руку, левую, и пожалел. Корку на предплечье обожгло так, что я выругался вслух, длинно, и в щель под крышей кто-то снаружи засмеялся. Голос был Стасов.

Строчку под водой было видно хорошо. Корка размокла, и буквы под ней проступили чётко, тёмные, тонкие, с хвостами. Девять знаков, или десять, я не понял, где кончается один и начинается следующий. Сделаны они были твёрдой рукой. Ни одна линия не дрогнула, хвосты одной длины, промежутки одни и те же. Кто это колол, был трезвый, спокойный и умел.

А Гоша под строчкой был нарисован так, будто кололи его, лёжа на боку. Глаз у него один выходил больше другого вдвое, и левое крыло было с прорехой, нарочно, и прореха была нарисована старательно, обведена дважды. Того, кто это колол, я, по-моему, знал.

Я смыл кровь, обвязал руку чистой тряпкой и вышел.

У умывальни стоял Лаэрнаэль.

Лаэрнаэль ан Тоурин, эльф, писарь порубежной управы, тот, что на четвёртый день нашей жизни здесь пришёл описывать находку и с тех пор пишет на нас все бумаги короны. Вчера он сидел на свадьбе с дощечкой и записывал всё. Сегодня он был уже одет в дорогу, плащ на нём был тёмный, с серебряной нитью, и молодой эльф держал за ним двух коней.

– Я отбываю, Артём Ковалёв, – сказал он. – Я желал проститься.

Он смотрел не на меня. Он смотрел на мою руку.

Тряпку я повязал плохо, и она съехала к запястью, и строчка была видна вся. Лаэрнаэль смотрел на неё. Лицо у него было такое, какое у него всегда, когда он пишет опись: никакое. Глаза шли по строчке слева направо, медленно, по знаку, и дошли до конца, и вернулись в начало, и прошли ещё раз.

Губы у него не шевелились.

– Что там написано? – спросил я.

Лаэрнаэль поднял глаза на меня.

– Сие не мне читать, – сказал он.

Он наклонил голову, повернулся и пошёл к коням. Молодой эльф подал ему повод. Лаэрнаэль сел в седло, одёрнул плащ и поехал к тракту, шагом, и ни разу не обернулся. Молодой поехал за ним и обернулся дважды.

Ларни, Ларни Дреск, наш кузнец у горна, бывший писарь старого Дреска, с первой зимы у нас в подмастерьях, видел это от горна. Подошёл, когда эльфы ушли за холм. Я показал ему руку.

Ларни приложил ладонь козырьком от солнца.

– Эльфье. – Ларни убрал ладонь. – Не людское. Эльфье я не читаю.

– Совсем?

– Знаки ихние знаю, какие на вещах. Письмо нет. – Он ткнул пальцем в Гошу на руке.– А это я читаю.

– И что там?

– Дракон. Пьяный.

Он вернулся к горну. Горн у него, оказывается, был уже раздут, и на краю, под молотом на крюке, стояла его кружка.

В конторку я пошёл, когда двор опустел. Хорновы ушли к мосту, Хёгни увёл артель, Торке уехал с женой, Тург с Гришей тоже. Гоша на опоре проснулся, поднял голову, посмотрел вниз на пустой двор и лёг обратно.

Конторка стояла тёмная, с закрытыми ставнями. Внутри пахло сухим деревом, бумагой и железом. На столе у окна лежал лист жести, на котором я весной учился держать круг, весь в кругах, сплюснутых и рваных, и на жести лежало писало. Старое, людское, то, что мы принесли из развалин, с номером, который Ларни прочёл на кромке: триста шесть. Второе, холодное, лежало в ящике.

Писало лежало по-другому.

Клал я его остриём к окну. Теперь оно лежало остриём ко мне, поперёк стола, и жесть под ним была исписана.

Я открыл ставню. Свет упал на жесть, и на жести поверх моих кругов шла картина. Тонкие чёрные линии, без нажима и без единого разрыва, такие, какие писало оставляет, когда пишет им Стас, только тоньше. Писал не Стас. Стас спал.

Я долго смотрел, пока не стал понимать, что это.

Сверху шла полоса частой штриховки, с запада на восток, через весь лист. Под ней, ближе к левому краю, тонкая извилистая линия сверху вниз, с изгибом в одном месте и с маленькой поперечной чертой чуть ниже изгиба. Если изгиб был наш, у порога, то черта была мостом.

От штриховки уходила линия точек. Точки шли через равные промежутки, частые, мелкие. Одна ветка уходила вверх и влево и упиралась в маленький квадрат. Другая шла вниз, далеко, через половину листа, к нижнему краю. Там у края шла длинная волнистая линия, берег. За ним узкая полоса пустого места, без единой черты. За полосой снова берег, второй. И дальше, на втором берегу, в самой середине нижнего края, стоял кружок.

Маленький, с монету, аккуратный. Замкнутый. В середине кружка точка.

Я позвал Стаса.

Стас пришёл не сразу, заспанный, с мокрыми волосами, и встал рядом со мной у стола, и минуту молчал, что для Стаса много.

– Оно само. – Стас наконец выпрямился. – Тём. Оно само ночью. Мы ж его не включали.

– Я не включал.

– И я не включал. Я с вечера в конторку не заходил. Ларни тут обычно спит, а вчера у горна спал, я видел. – Он наклонился над жестью. – Короче, никто не заходил.

Он провёл ногтем над верхней веткой точек, не касаясь жести.

– Это столбы. – Ноготь у него остановился на квадрате. – Тём. Это столбы. Мы по ним шли. Тут Копань, это перевал, а дальше столбы, и тут развалины. Мы по ним шли туда, вверх.

Ноготь у него вернулся назад и пошёл по второй ветке. Вниз, мимо всего, что мы знали.

– А это? – Я показал на кружок.

Стас посмотрел на кружок. На узкую пустую полосу перед ним. Потом на меня. Потом на мою руку, которую я держал у груди, в тряпке.

Ничего не сказал. Я тоже.

Мы постояли над жестью вдвоём. Гоша на опоре за окном перевернулся на другой бок, и полосы нержавейки на раме тренькнули.

Я пересчитал всё, что было на листе, дважды. Штриховка, река, мост, точки, два берега, пустая полоса.

Отметка была одна.

Глава 2

Волоки Славик уложил в ящик сам и сам заколотил крышку, хотя ящик был его ещё с той недели, когда копанский обоз пригнал нам Хёгнины сани.

Ящик был невелик, с локоть, из обрезков, и на крышке углём стояло: Эгилю. Копань. Внутри лежали две волоки, каждая в тряпице, а между ними пакля, чтобы не бились. Четвёртая, запасная, осталась на полке у токарки, рядом с той, что лопнула в масле и стояла теперь в музее. Над тремя Саныч с Ларни сидели три недели, и Славик держал ящик под мышкой так, будто в нём лежали все три недели разом.

– Эгилю, – повторил он, глядя на крышку. – Не совету. Не кому попало. Эгилю в руки.

– В руки.

– И расписку.

– Будет.

Ехать на этот раз собрались вдвоём, со Стасом, и с нами Тамми. Тамми вёл Зину. Зина шла под вьюком, сани остались дома, летом им делать нечего.

Гера провожал нас у ворот в той же рубахе, в которой женился, и с бородой, которая за неделю стала похожа на бороду. Ильда стояла рядом. Она уже второй день ходила по двору в своём кожаном фартуке поверх свадебного платья и всем видом показывала, что платье это случайность.

– Тём. – Гера почесал бороду. – А мне, значит, медовый месяц.

– Тебе болты, – сказал Рустам из цеха.

– Медовый месяц у горна. – Гера посмотрел на Ильду. – Это нормально?

Ильда посмотрела на него снизу вверх.

– У Хорнов только так.

Гера сказал, что так и знал, и пошёл к горну.

Стас перерисовал карту с жести на лист бумаги ещё позавчера ночью, при светильнике, и лист этот лежал у него теперь за пазухой, сложенный вчетверо. Жесть осталась в конторке, под старым одеялом Ларни, и про неё мы договорились молчать. Кому молчать, не уточняли.

Руку я с утра перевязал заново. Корка сходила, чесалась, и под ней проступали буквы, тёмные, чистые. Рукав я по привычке закатал и уже у моста опустил обратно. Воротник я поднимал до самого моста, хотя в дороге шею прятать было не от кого, и Гера, провожая, смотрел на этот воротник очень разочарованно.

Дорогу на Копань мы знали по зиме, а летом она оказалась другой.

Зимой мы шли по льду Гремучей и через скалы, а летом лёд стал рекой, и река в скалах шла белая, громкая, и по ней ходить было нельзя. Пошли поэтому обозной дорогой: через мост, по дворфьей стороне, вверх, где ходит копанский обоз. Колеи на дороге были глубокие, с бороздами по краю от ящериных когтей, и держали воду после дождя, и Зина обходила их, ступая аккуратно, будто ей было жалко копыт.

Жарко было с утра. К полудню солнце стояло прямо над ущельем, и камень грел снизу, и от Зины пахло потом и лошадью, а от нас со Стасом пахло примерно так же. Стас снял толстовку на второй день и завязал её на поясе рукавами, а на третий день обгорел, и Тамми мазал ему плечи жиром из своей банки. Жир пах бараниной.

– Короче, я теперь шашлык, – сказал Стас. – Жирный и подгоревший.

Тамми, который это слово знал от Геры, кивнул с понимающим видом.

На выпасах по склонам стояли пуховые ящеры. Летом они были не такие, какими мы их видели зимой у Ульва. Пух с них лез клочьями, серыми, и висел на колючках по всему склону, будто склон кто-то подушкой выбил, а под пухом была кожа, розоватая, в складках, и вид у

ящеров был стыдливый. Пастух при них сидел один, старый дворф, на камне, и при виде нас даже не встал.

Космачи паслись выше, у снега. Тоже облезлые, с шерстью до земли только на ногах, а по бокам голые, тёмные, с рогами, загнутыми назад. Стас сказал, что это яки, Тамми сказал, что это космачи, а спорить им было не с кем: Геры не было, и спор кончился сам.

Виверн мы видели раз. Высоко, у скал, две, кругами, и Тамми, не останавливаясь, переложил котелок из сумы в мешок и затянул двойным узлом. Летом, сказал он на пальцах, виверна сытая и высоко. Сытая не опасная. Опасная зимой.

Ульв нас узнал.

Ульв, хозяин зимовья у перевала, держит каменный дом в склоне, уголь под навесом и ящера в пристройке, и по-людски знает слов десять. Зимой мы у него ночевали два раза, туда и обратно. Сейчас дом стоял с открытой дверью, уголь под навесом лежал летний, маленькой кучей, а сам Ульв сидел на пороге и чинил хомут.

– Без-бо-ро-дые, – сказал он по слогам, когда мы подошли. И подумал. – Ло-шадь. Та же.

– Зина.

– Дра-кон? – Ульв посмотрел нам за спины, на небо.

– Сытый, – сказал я.

Ульв кивнул с явным облегчением и пустил нас ночевать. Ящик у двери, с прорезью, стоял на месте, и я опустил в него четыре резани, хотя угля мы не жгли: ночь была тёплая.

Ульв видел, сколько я опустил. Утром он дал нам с собой лепёшек.

Ночью у меня под повязкой зудело так, что я ушёл к ручью и держал руку в воде, пока она не онемела. Стас, проснувшись, пришёл и сел рядом.

– Чешется?

– Сил нет.

– У меня так джойстик чесался. – Он показал своё левое предплечье, где у него с восемнадцати лет сидел контроллер от приставки с лишней кнопкой. – Две недели. Потом прошло. Потом ещё через месяц снова чесалось, когда пиво. Не знаю почему.

– Помогает?

– Что?

– Знать, что прошло.

Стас подумал.

– Нет.

Копань мы увидели на девятый день, с последнего перевала, и сначала услышали.

Водопад шумел так, что шум доходил до перевала раньше вида, и мы шли на этот шум полдня. Зимой водопад висел посередине ущелья синим языком, весной пробил во льду русло. Теперь льда не было вовсе. Вода падала белой стеной со скалы в чашу, из чаши шла в реку, и над чашей стояла мокрая пыль, а в пыли радуга, и по ярусам вверх и вниз, по каменным мостам, по лестницам, ходили дворфы, сотнями, с тачками, со связками прута на плечах, с ящерами в поводу.

Рынок на нижнем ярусе был полный. Зимой там торговали в полряда, теперь торговали во все ряды и ещё на мосту.

Волочильня трёх братьев стояла у водопада под той же вывеской, с мотком в кольце. Внутри было жарко и от горнов, и от летнего солнца, и ящеры ходили по кругу в загонах, тоже облезлые, толкая грудью оглоблю.

Эгиль стоял у первой волоки.

Эгиль, старший из братьев, седой, в своём длинном фартуке, тот, с которым мы весной били по рукам за волоки. Шесть марок за штуку и первая партия прута на ней для Хорна без доплаты. Он увидел нас в дверях, дотащил прут до конца, бросил клещи, вытер руки о фартук

и пошёл к нам, и шёл быстро, и, не дойдя трёх шагов, остановился и посмотрел на ящик у меня под мышкой.

Потом на меня.

– Привёз, – сказал он по-своему. Это слово я понял без Тамми: Тамми научил нас ему ещё зимой.

– Привёз. Сам. До осени.

Тамми перевёл. Эгиль молчал, а младшие братья у второй и третьей волоки бросили работу и уставились на нас.

Ящик Эгиль открыл сам, ножом, аккуратно, чтобы не расщепить крышку. Развернул тряпицу. Взял первую волоку двумя пальцами, повернул к горну, к свету, и посмотрел в отверстие.

Отверстие Саныч полировал на палочке с пастой, по вечерам, до зеркала.

Глядел он туда долго. Потом сказал что-то, коротко, и младший брат за его спиной засмеялся.

– Видит, – Тамми покраснел, – дырку, а в дырке свою бороду. Седая, говорит. Не замечал.

Ставить нашу волоку решили сразу, при нас, на первый барабан. Эгиль вынул свою, старую, ручную, с волной по краю отверстия, ту, что садилась через год, и поставил нашу в гнездо. Подогнал клином. Младший брат сунул в горн связку прута, и прут вышел вишнёвый, и его заострили на наковальне в два удара, и вдели остриём в нашу волоку, и клещи взяли остриё с той стороны.

Ящеры пошли по кругу. Оглобля пошла. Цепь натянулась.

Прут пошёл. Метр, два, и с той стороны волоки он выходил тоньше, гладкий, и было мне хорошо.

На третьем метре прут вышел с полосой. Вдоль, по всей длине, тонкая светлая полоса, как будто его кто-то чиркнул ногтем. На четвёртом метре полос было три. На пятом прут дёрнулся, цепь звякнула, и прут лопнул у самой волоки.

Ящеры встали сами.

В сарае стало тихо, только горны шипели. Эгиль подошёл к волоке и тронул пальцем обрывок прута, торчавший из неё. Лицо у него было каменное. Младший брат что-то сказал и замолчал под его взглядом.

– Тём. – Стас дышал мне в затылок. – Это чё. Это ж Санычева.

Я подошёл. Выбил клин, вынул нашу волоку и, обжигая пальцы, посмотрел в отверстие на свет.

Зеркала больше не было. По входу, по конусу, там, где прут только начинал обжиматься, шли риски, мелкие, частые, и в рисках сидело чёрное. Я колупнул ногтем. Чёрное отскочило чешуйкой.

Окалина.

Дома мы тянули холодным. Ржавчину счищали, прут мазали, волоку мазали, и тянули медленно: чистить, мазать, тянуть плавно. В Копани тянули горячим. Прут из горна, вишнёвый, весь в окалине, и окалина под клещами трещала и сыпалась. Их ручная волока была мягче нашей, окалина её просто ела, медленно, за год, и волна по краю отверстия была от этого. Наша была калёная и полированная, и окалина её резала: задирала конус, и задранный конус драл прут.

Я сказал это Стасу, а Стас пересказал Тамми, а Тамми сказал Эгилю. Шло это долго. Эгиль слушал, глядя мне в руку, где была волока.

– Без огня – нет, – сказал Тамми. – Холодный прут – двенадцать горнов, двенадцать ящеров. Нет. Огонь – да.

– Огонь пусть будет. Окалину до волоки снять надо.

Тамми перевёл. Эгиль перевёл глаза на свою старую волоку, ручную, которую только что вынул. Взял её. Повертел.

И поставил её в гнездо первой, перед нашей, через подкладку, на ладонь раньше. Отверстие у неё было чуть шире нашего, и край, тот, с волной, был острый от года работы. Младший брат понял раньше, чем Эгиль сказал, сунул в горн новую связку.

Прут пошёл через старую волоку, и с прута посыпалось чёрное, хлопьями, на пол, и шёл он из неё серый, почти голый, и сразу, через ладонь, входил в нашу. Ящеры пошли. Цепь пошла. Метр. Два. Пять.

Прут вышел гладкий, тёмный, без единой полосы, и Эгиль подождал, пока конец остынет, провёл по нему пальцами и ничего не сказал. Потом приложил ладонь к нашей волоке в гнезде, подержал и отнял. Следующую связку он сунул в горн, только когда волока остыла. Сколько она так проживёт, не знал никто, Эгиль тоже.

Волоку нашу, задранную, я завернул в тряпицу и положил обратно в ящик. Конус её можно было перешлифовать, но не здесь и не Эгилю: Саныч бы перешлифовал. Ставили вторую. Вторая пошла с первого раза.

Возле барабана всё это время был дворф, которого я раньше не замечал. Чужой, не из братьев. Широкий, с чёрной бородой, остриженной коротко, с ранней сединой в ней, и руки у него были в буграх. Он ждал у второго барабана, где младший брат точил шкив под ремень, и не сводил глаз с нашей волоки. Когда я её вынимал, он подошёл ближе. Когда Эгиль её отложил, взял её в пальцы, без спросу, и долго крутил, глядя в отверстие и по наружной стенке, по следам резца. Потом что-то спросил у Тамми.

– Спрашивает: на чём точили, – сказал Тамми. – Колесо? Лук?

Лук у них был токарный станок, тот, где заготовку крутят тетивой туда и обратно.

– Станок. Вал крутится. В одну сторону.

Дворф выслушал Тамми и положил волоку туда же, откуда взял, и отошёл к своему шкиву. Имени он не назвал.

Вечером Эгиль подарил Тамми моток проволоки.

Тонкой, медной, своей работы, с ладонь мотком, перевязанный крест-накрест. Сунул ему в руки молча, у ворот, когда мы уходили к постоялому двору, и ушёл обратно в сарай. Тамми так и остался у ворот с мотком в руках.

– За что? – спросил я.

– Толмач. Первое. Толмачу первое.

Моток он убрал за пазуху, к доске, и до постоялого двора держал там руку.

У ворот волочильни нас догнала старшая из жён, та, что весной мазала Стасу ожог зелёной мазью и дала горшочек в дорогу. Она взяла Стаса за левую руку, без спросу, повернула ладонью вверх и разглядывала розовую полосу поперёк ладони. Понюхала. Сказала что-то Тамми.

– Хорошо, – перевёл Тамми. – Мазь мыл?

– Как велели. – Стас подул на ладонь. – Я её даже нюхать боялся.

Она кивнула, отпустила руку и вынула из передника второй горшочек, такой же. Стас взял. Спросить, от чего этот, он не успел: она уже ушла.

На другой день нас позвал совет.

Позвал через младшего брата, с утра: старшины желают видеть безбородого, который привёз волоки, на ярусе совета, к полудню. Желают, это слово Тамми перевёл именно так, и по лицу его было видно, что он ещё не решил, хорошо это или плохо.

Ярус совета был под самым водопадом, на средней высоте, широкий, под навесом из каменных плит. Весной мы видели старшин на торгу, мельком: четверо в шубах до пят. Летом шубы они сменили на кафтаны, длинные, тёмно-красные, с золотой нитью, а цепи на шапках остались. Перстни тоже. Один из четверых носил на груди медную бляху с ладонь, начищенную, и этого я помнил: весной он задержал на нас взгляд дольше прочих.

Он и сейчас смотрел дольше прочих. Сначала на меня. Потом на Стаса. Потом мне на руку, где из-под рукава краем торчала повязка, и я рукав одёрнул.

Говорили через Тамми. Говорил старший, седой, с цепью потолще. Медная бляха молчала.

Молчала, пока старшие рассаживались и пока старший здоровался. Потом спросила одно, и Тамми, переводя, помедлил.

– Спрашивает: дракон ваш далеко летает?

– Куда хочет, туда и летает, – ответил я.

Бляха выслушала перевод и больше ничего не спрашивала.

Копань, перевёл Тамми, видит волоку завода. Копань видит прут на ней. Копань тянет прут для всех, кто платит: для Хорна, для соседей Хорна, для кланов с юга. Кланы мерят прут кто чем. А мерка завода, скоба с кружком, ходит уже по всем рядам, от Бочек до Копани, и кланы сами стали мерить ею. Копань хочет тянуть прут под заводскую мерку для всех. Для этого нужны волоки. Не две.

– Сколько? – спросил я.

– Дюжину, – перевёл Тамми. – В год. Каждый год.

Я подумал про Саныча: он три недели точил три штуки, а до того одну расколол в масле. Подумал про Ларни с его песком и про токарку, на которой у нас стоит всё сразу.

И сказал: да.

Сказал быстро, потому что видел, как старший кивнул, и видел, как медная бляха перестала смотреть мне на руку и посмотрела в лицо. Сказал: двенадцать в год, по той же цене, шесть марок, первую половину к зиме, вторую к лету, с первым обозом. И чтобы прут под нашу мерку для Хорна шёл по той же цене, что для прочих, раз Хорн был первым.

Старшины переговорили. Кивнули. Старший протянул руку, и я её пожал.

Стас, пока я жал руку, наклонился к самому моему уху.

– Тём, – сказал он тихо. – Саныч одну волоку неделю точил. Одну.

– Знаю.

– Двенадцать – это три месяца. Если ничего не колоть.

– Стас.

Он больше ничего не сказал. Медная бляха смотрела на нас, и только тут я понял, что он понимает по-людски, и понимал всё, с самого начала, и Тамми ему был не нужен.

Карту продавал купец на верхнем ярусе, и нашёл его Тамми.

Нашёл, потому что я с утра спросил, у кого в Копани есть карты дальше Кряжа, и Тамми ходил по рынку два часа и вернулся с купцом. Купец был дворф, низкий даже для дворфа, толстый, в жилете с медными пуговицами, и говорил по-людски бегло и с удовольствием: торговал он с эльфами и с югом, и людское слово у него во рту не застревало.

Карт у него было три. Две с Кряжем, с перевалами и штольнями, нарисованные красками на холсте, дорогие. Третья на коже, старая, тёмная, в трещинах по сгибам, и на ней был весь берег.

Я узнал её не сразу. Узнал по штриховке: полоса гор с запада на восток, и под ней, у левого края, извилистая линия, и Стас у меня за плечом тихо выдохнул. Ниже шёл берег, длинный, волнистый. За ним узкая вода. За водой вторая земля.

– Сколько? – спросил я купца.

Купец назвал. Назвал много, четыре марки, и улыбнулся, и Тамми, услышав цифру, встал между нами.

Торговался Тамми по-своему. Кулак, слово, кулак. Купец по-людски, Тамми по-дворфьи, и оба понимали друг друга прекрасно. Купец сбавил. Тамми покачал головой и показал на трещину на сгибе. Купец назвал ещё меньше. Тамми показал на угол, где кожа облезла и не

было видно, что там нарисовано. Купец развёл руками и сказал, что в углу море, и что на море смотреть нечего, оно везде одинаковое.

Сошлись на двух марках и горсти резаней, и к карте купец, вздохнув, отсыпал Тамми мешок орехов. Почему орехов, я так и не понял. Тамми тоже не понял, но мешок взял.

Карту развернули на прилавке. Стас достал из-за пазухи свой лист, развернул, положил рядом.

Его лист был мельче. Он повернул его так, чтобы штриховка гор легла вдоль штриховки на коже, и подвинул, и ещё подвинул, пока берег на его листе не лёг на берег на коже, изгиб к изгибу. Там, где у него была пустая полоса между двумя берегами, на коже была вода. Узкая, длинная, и на ней было что-то написано, мелко.

Кружок на Стасовом листе лёг на середину второй земли.

– Это что? – спросил я купца и показал на вторую землю.

Купец посмотрел туда, куда я показал, и перестал улыбаться.

– Сарн, – сказал он. – Там демоны.

– Кто?

– Демоны. – Он пожал плечами, будто я спросил, мокрая ли вода. – Живут там. Это вот, – он ткнул пальцем в узкую воду, – Горло. Через Горло двести лет никто не плавает. У них там флот. Корабли. Стоят и ждут.

– Чего ждут?

Купец подумал.

– Этого и они не говорят.

Он стал сворачивать карту, медленно, по старым сгибам, и уже свернув, сказал, не поднимая глаз:

– Вам ещё одну? Про развалины за Копанью есть. Старшина спрашивал такую с весны. Я ему не продал, дорого просил. Вам продам дешевле.

– Какой старшина?

– С бляхой. – Купец показал ладонью на грудь, где у того бляха. – С весны ходит, спрашивает, что за дорогой. За той, по столбам.

Стас посмотрел на меня. Я посмотрел на купца.

– Не надо. Мы там были.

Купец кивнул.

Вечером на постоялом дворе мы сидели со Стасом над картой при свече, а Тамми спал, обняв мешок с орехами. Я развернул кожу на столе и положил сверху Стасов лист, как днём на прилавке, и придавил углы кружками.

– Двенадцать я зря пообещал. Саныча не спросил.

Стас ничего не ответил. Сидел, смотрел на лист.

Тонкие линии на бумаге, которые он перерисовал с жести, лежали на старой коже, изгиб к изгибу. Берег на берег. Вода на воду. И маленький кружок с точкой, который на жести никто не рисовал.

Кружок стоял на их земле.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.